

18+

Владимир Молодых

Судьба казака

Владимир Молодых

Судьба казака

«Издательские решения»

Молодых В.

Судьба казака / В. Молодых — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-980235-4

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Молох ГУЛАГа был столь вселенских масштабов на пространствах всей России, что физически было истреблено, помимо, старых большевиков и духовенства, целое сословие — казачество. Их истребляли целыми станицами, выселяя их в дикие, необжитые места, где они исчезали бесследно, или гнали на каторги, откуда возврата уж не было. Но были еще штрафные вагоны, вагоны для смертников. О таком вагоне пойдет рассказ очевидца, старого большевика, оказавшегося там без суда и следствия.

ISBN 978-5-44-980235-4

© Молодых В.
© Издательские решения

Содержание

От автора	6
ВВЕДЕНИЕ	7
Судьба казака	9
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Судьба казака

Владимир Молодых

© Владимир Молодых, 2020

ISBN 978-5-4498-0235-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

ГУЛАГ! Это мрачная страница из истории советской России. Сколько уже написано и сказано о том времени жестокой тирании. Свидетели той мрачной поры – это сотни тысяч людей, невинно осуждённых, как, якобы, врагов народа, остались в холодной земле Севера и Востока России.

А молох ГУЛАГа был столь вселенских масштабов на пространствах всей России, что физически было истреблено, помимо, старых большевиков и духовенства, целое сословие – казачество. Их истребляли целыми станицами, выселяя их в дикие, необжитые места, где они исчезали бесследно, или гнали на каторги откуда возврата уж не было. Но были еще штрафные вагоны, вагоны для смертников. О таком вагоне пойдет рассказ очевидца, старого большевика, оказавшегося там без суда и следствия.

Художественно обработанный рассказ очевидца, пионера колхозного движения на Дальнем Востоке, и ляжет в основу повести «Судьба казака». В своем рассказе о вагоне для смертников было упомянуто о казаке, с которым свела его судьба.

Отец мой, бывший казачий офицер воевавший в Красной армии, был репрессирован. Где и каким образом он был подвергнут репрессиям не известно. Известно только то, что он оставил свой партбилет, отказавшись раскулачивать казаков-средняков. Со слов близких, он вернулся вскоре, так что в 1932 году у него родилась первая дочь. В последующие годы он будет строить довоенный БАМ, а позднее будет строить поселок Ключи под Ключевской сопкой на Камчатке.

Судьба моего отца и «Судьба казака» тем символична, что эти судьбы могли бы дополнить последнюю ненаписанную главу из жизни Гр. Мелехова. Известно, что М. Шолохов в силу ряда причин того смутного того времени не смог сказать всей правды о печальной судьбе казачества. А судьбы всех казачьих офицеров заканчивались трагически через ГУЛАГ.

«Судьба казака» – это всего лишь Эпилог к книге «Жизнь казака», которая готовится к изданию.

ВВЕДЕНИЕ

Шли роковые для России 30-е годы...

Стране, едва оправившейся от смутного времени революции, от разрухи Гражданской войны, волею вождя был навязан его курс партии по строительству социализма.

Оппозиция, среди которой было немало старых большевиков, известных в партии, из тех, кто готовил и делал революцию под руководством Ленина, потом отвоёвывал Советскую власть в Гражданскую, была против по многим вопросам. Зрела серьезная угроза планам вождя. К этому следует добавить, что «масло» в огонь раздоров в свое время внес Ленин, опубликовав в газете «Правда» от 1921г. заметку о невозможности построения социализма в России без Госкапитализма. Шагом к этому стал НЭП, отвергнутый позднее вождем.

Теперь вождю отступать было некуда. Оставалось одно: уничтожить оппозицию. И эта цель – и в этом вождь не сомневался – оправдала любые средства. Он начал с раскола партии на лояльность его курсу строительству социализма. Как обычно присягала Россия на верность очередному царю. В деле раскола партии в кумиры вождь взял деяния царя Алексея Михайловича по расколу православной – тогда святая святых Руси – веры. В основу раскола просвещенный по тем временам царь положил принцип, кажется, китайских мудрецов: разделяй и властвуй! Принцип этот, кстати, потом ляжет и в основу всего государственного строительства в России. К этому принципу прибегнул и вождь.

Раскол веры ослабил тогда авторитет Церкви, и царь мог теперь беспрепятственно начать строить государство по своему образу и подобию на единовластии. А сама церковь с тех пор окажется в услужении власти и уже не сможет помешать в последующем наложить на русский народ крепостное рабство.

Царь, расколов веру, ослабил церковь и лишил ее быть защитницей народа. Вождь сделал то же. Он расколол святую святых народа – его партию. Она, ослабленная, перестала быть партией народа, теперь она не выражала его интересы. Словом, партия оказалась во власти вождя – как, в свое время церковь оказалась во власти царей после раскола – и теперь ему уже ничто не мешало строить режим по собственному образу и подобию на страхе бывшего холопа царской России, утверждая единовластие, отбросив сомнения и предупреждения Ленина о невозможности строительства социализма в России.

Царь нещадно расправился с мнимыми раскольниками веры. Вождь расправлялся с мнимыми раскольниками партии, по-восточному, куда более изощренно. Работало безотказно, проверенное временем, – «слово и дело». Вождь ничего не изобретал: все новое – это было еще не совсем забытое царское старое. Во всем он исходил из принципа: хороший враг – мертвый враг. Непримиримых оппозиционеров из старых партийцев он уничтожит физически в первую очередь. За ними последуют все те, кто был свидетелем его дореволюционного ничтожества. Теперь он бог на земле, он солнце, – а на солнце не должно быть пятен! Для всех же сомневающихся и неблагонадежных вождь запустит машину вселенского размаха по уничтожению «врагов народа», врагов его власти – Гулаг!

Колесо этого молоха обильно смазывали кровью... «Врагов народа» находили повсюду, даже на других материках. Ко двору, как говорится, пришелся и «главный буревестник революции» Горький. Теперь уже истребляли негодных, гнали их на каторгу и в ссылку под его «молитву»: «Кто не с нами – тот против нас». Он стал духовным отцом террора в стране: «Если враг не сдается, то его уничтожают», – советовал писатель. Почему же он стал заложником нового строя? Так ли уж было безвыходно автору «Жизнь Клима Самгина»?...

Врагов на Руси никогда не жаловали

Масштабы террора росли. Гулаг, эта машина смерти, едва справлялся. Бесконечные вереницы этапов переполняли лагеря и каторгу, так что молах истребления, так называемых «врагов народа», захлебывался, работал на пределе.

Однако оппозиция не отступала. Она понимала, что построить на лжи и страхе можно лишь режим диктатора. Ведь, если социализм построить невозможно без Госкапитализма, так что же тогда строит вождь?

Это была горькая правда. Этому не мог не осознавать вождь, как и всех ее последствий. Но было уже поздно. Да и кто на переправе меняет коней.

Грохотом будней великих строек вождь убеждал своих врагов по партии, что и без Ленина, мол, мы построим социализм.

Но пророчества гения сбылись, и мы, наши читатели, стали свидетелями краха режима под названием социализм.

Трагедия свершилась. Революция 1917г. всего лишь потрясла цивилизованный мир, но не могла разрушить, то, чего зримо уничтожить было нельзя, тот столп, на котором стояла Империя, – Имперский дух! А вот зримым выражением этого духа было и будет, – пока будет жив имперский дух, – самодержавие. Когда власть и толпа, стоящая у трона, по одну сторону, а народ – по другую. А потому народ, как ты его не ублажай, всегда будет в оппозиции к любой власти.

Не было и не могло быть врагов народа, были, есть и будут враги самодержавия, а потому число «врагов народа» будет только расти. Под одобрительные крики толпы «выявлялись» целые партии и группы «врагов народа», а это по убеждению вождя, отражало лишь усиление классовой борьбы в стране и рост угрозы существованию его власти.

Если старых большевиков уничтожали вначале поодиночке, потом группами и даже «съездом», то казачество и духовенство гребли под гребенку – от мала до велика. Они, как сословия, подлежали полному истреблению. Геноциду... Да и что делать, «если враг не сдастся?...его уничтожают».

Вот так просто и ведь, как кстати, пришлось эти слова «великого буревестника», а точнее предвестника того, что принесли стране 30-е роковые годы...

Судьба казака

*«Прощай, немытая Россия,
страна рабов...»
Ю. Лермонтов*

...Вагон для заключенных, приговоренных решением суда к смерти, загнали, согласно секретного предписания, в глухой тупик железнодорожной станции.

А через три дня командой «на выход» был вызван Дауров, некогда бывший казачий полковник...

В вагоне «смерти», как окрестила его сама охрана, другого повода для вызова, как на расстрел, не было. А накануне Старшой конвоя по всей форме посетил, как полагалось по предписанию во всех случаях остановки вагона, военного коменданта вокзала и получил пакет под грифом «секретно».

В вагоне, как и водилось во всех подобных, так называемых, исправительных заведениях, начальников никто не знал из заключенных ни имени его, ни фамилии. В этих заведениях никому не положено иметь, как и в стране, – а лишь кличка. В стране – Хозяин, в лагерях – гражданин начальник, а здесь просто – Старшой. При этом порядки здесь, что в стране, – одни и те же. Словом, командовал в вагонах всем Старшой. Правда, здесь была одна особенность: по разным причинам Старшой этих вагонов, а вагонов, заметим, было два, долго не задерживались, месяц – два от силы. Порою, конвойные толком Старшого и разглядеть не успевали, не то что имя его узнать, а уж ему ведут замену.

В подчинении Старшого два вагона с конвоем. Два старых, изрядно поношенных временем, потрепанных годами смуты в революцию и в Гражданскую войну, с виду были ничем не приметны среди ему подобных вагонов, появившихся в пору реформ Столыпина. Об этом реформаторе простой человек и знать-то толком в то время не знал, зато про «стольпинские» вагоны наслышаны были...

В царстве Романовых, как и полагалось, – оно и сегодня так! – все шло по указке «сверху», оттого-то многое за ненадобностью вскоре забывалось, попросту выбрасывалось на «свалку» истории. Подобное случилось и с этими вагонами. Великой была идея Столыпина переселить известную часть малоземельного крестьянства в Сибирь. А вышло так, что в них повезли на каторгу тех, – и такое есть мнение – кто убил Столыпина. В этом его беда была. Ибо сама Россия убила реформатора. А коль Россия, то и все «стольпинские» вагоны оказались кстати. Ирония судьбы – да и только! А что до каторги, то Столыпин словом и, как говорится, делом отдавал должное этому заведению. Он был «крутой» политик. За что, видимо, и заслужил нелюбовь царя. О чем он уже при смерти признался. Уж не сам ли государь тогда предал его, хотя тот тянул из хаоса и Россию, да и династию то же. И в том была его беда, что с реформами Россия опоздала. Это осознавал и царь и его окружение. Россия была «тяжела», и ей было не под силу поднять идеи Столыпина. Знать бы ему тогда, что Россия была уже «беременна» революцией. Революцией, которую ждала вся России, как мессию, уже 300 лет...

Однако, мы отвлеклись.

В одном из указанных вагонов располагалась охрана, другой же был внутри переустроен под обычную тюремную камеру с невысоким от пола настилом, служившем невольникам нарами. От входа нары прорезал пробором неширокий проход через весь вагон. Посреди прохода отверстие в полу, служившее отхожим местом или, попросту, известной для большинства узников вагона – «парашей». В этом вагоне и содержали смертников. Хотя среди «публики» вагона были и те, кого содержали здесь без суда и следствия – на «перевоспитании».

Так посреди смерти, по мнению вождя, идеи социализма лучше овладевают умами людей. Но и из этих «счастливчиков» немногие доживали до освобождения.

Тюрьмы России во все времена были переполненными. Очередную жертву заталкивали с трудом, чтобы за ним захлопнуть дверь. Вагон смертников не был исключением из этого правила.

Вагон заполнен вповалку массой грязных полураздетых от духоты тел, тяжело дышащих от отсутствия воздуха ртов. Это была серая шевелящаяся масса еще живых существ. От разлагающихся ран и от трупов, еще неубранных, вагон наполнялся смрадом удушья. Пол покрыт клоакой из зловонной слизи от человеческих испражнений. Немногие могли добраться до «параши». Силы оставляли их на полдороги – и они опорожнялись под себя. Здесь были те, из кого уже выбили все в подвалах следствия так, что в них едва теплилась тонкая нить сознания, что может быть и отличало их от трупов. Худые, порою изможденные и изуродованные, тела узников казались бестелесными. Вызванные, они брели, если могли, не оставляя даже тени. У иных видны темные полосы на коже рук и шее от кандалов. В этих – язык не поворачивается сказать – людях плоть истерзана так, что жизнь их теплится лишь в их душах, но они здесь никому не нужны. Их потом несчастные отдадут богу. Вагон – это дантовое вместилище человеческих отбросов, вшей, предсмертного храпа, стонов, чахоточного кашля да зловещего звона жирных мух в полумраке вагона.

Под потолком небольшое окошко, схваченное ржавой решеткой, скупое цедит свет, обдавая лица узников и последнее их пристанище лунным, неживым отблеском.

В Старшие охраны вагонов попадают, как правило, из бывших зеков. Они, прошедшие в лагерях школу выживания и унижения, на своей шкуре прочувствовали, что значить быть лагерной пылью. Но эти люди знают главное, – как надо отвоевать среди себе равных, преданность власти. Это-то в них более всего и ценилось.

Но среди них встречались и другие.

Дауров помнит своего первого Старшего и первый его допрос. Бледное, землистого оттенка лицо Старшего выдавало в нем черты человека интеллигентного, равно как и холодного ко всему происходящему. Зато круглые стекляшки его очков почему-то вызывали у Даурова некоторую симпатию к Старшому: они напомнили ему годы гимназии и их кружок, который так и назывался именем Добролюбова, а его брошюра под названием «Когда же придет настоящий день?», была для них настоящей программой. Так что Старшой в этих очках прямо-таки походил на революционера времени Добролюбова.

После официального, как полагалось, представления вновь прибывшего, Старшой стал задавать вопросы. Дауров не был настроен после следственных подвалов на откровенный разговор. Он предпочитал отмалчиваться. Да и что он мог сказать большего, чем записано в его «Деле», который теперь лежал перед Старшим. Однако Даурова не меньше удивило, когда Старшой стал рассказывать о себе: не был ли это дешевый прием, к которому, бывало, прибегали следователи, провоцируя заключенного таким образом на взаимную откровенность.

Потом, спустя время, когда на его место поставят нынешнего Старшего, Дауров попытается что-то вспомнить из того, что рассказал о себе Старшой, но, к сожалению, он мог вспомнить немного. Он, бывший некогда морской офицер, служил одно время под начальством Колчака. Под влиянием пораженческих настроений в Японскую войну, он оставляет службу и уезжает за границу. Судьба свела его с группой Плеханова. Он становится его учеником, а вернувшись в России перед первой революцией, примыкает к левым эсерам. Потом ссылка, Сибирь, побег, затем он в руках Колчака, но бежит прямо из-под расстрела.

Дауров еще не раз попытается что-то вспомнить из рассказанного, но ничего нового из их того первого разговора он так и не припомнит. А вот голос его! Он и сейчас слышит его и, кажется, слышал этот резкий с придыханием высокий голос раньше. Он, кажется, узнал его...

В тот день охранник непривычно долго возился у двери в вагон смертников, гремя ключами, прежде чем открыл ее.

Дауров... на выход, – раздался негромкий, будто спросонья, спокойный, а потому необычный в таких случаях голос, вошедшего в вагон охранника.

Хрипловатый с надсадом голос этот в вагоне знали все. Он всегда означал одно: приведение в исполнение приговора. И всегда только два слова – фамилию смертника и «на выход» – он произносил устало и нехотя. Разделяя эти слова долгим с надрывом кашлем, отчего слюна с шумом вылетала изо рта его по сторонам. А перевалив через отвислую книзу нижнюю губу, слюна срывалась вниз. Порою он отфыркивался, как лошадь, давился слюною, нехотя смахивая ее с губ залоснившимся рукавом шинелки, словно отмахиваясь, как от надоедливой мухи. Иной раз он не успевал подхватить рукавом сорвавшуюся слюну, и тогда она, тягуче, ползла вниз, на пол и тащилась за ним следом. На ходу он наступал на нее – и тогда рвалась нить слюны. Звали его по-разному. Прежний Старшой звал его только по фамилии, Криворотов. Нонешний же – по настроению. Может и по фамилии, но чаще по кличке, им же придуманной, Губошлеп.

А между тем вагон притих, зная цену произнесенных Криворотовым слов. Негромко сказанные, они сейчас, подобно случайно залетевшей и вдруг оказавшейся узницей птицей, бились испуганно в стенах вагона. Стало так тихо, будто все враз вымерли. Каждый из них знал свою судьбу смертника. Отсюда выносят только вперед рогами. И все же вызов на расстрел для них, повидавших смерть может и не раз, было всегда неожиданностью: пусть это будет завтра, но не сегодня, только не сейчас. Так уж, видно, устроен человек: пока он жив, – живет и его надежда.

Криворотов в ожидании ответа, нехотя потоптался на месте, а не дождавшись, позвал вторично. Гудением злых, как собаки, жирных неугомонных мух ответил вагон.

Все ждали. Если Дауров не ответится, не подаст хотя бы голос, что жив, то охранник тут же вызовет другого. Кого?... Это повисло в воздухе...

Взор всех сейчас был устремлен в сторону двери вагона, где освещенная светом снаружи хорошо из полумрака вагона вырисовывалась сгорбленная фигура охранника.

Потянулись томительные минуты. И уже всем казалось, что охранник своим видом вроде как пытается вспомнить фамилию очередного да память должно его подкачала.

В вагоне притихла, казалось, даже сама смерть. Она перестала стонать, молить бога о пощаде, храпеть уже в предсмертной агонии. Но еще больше, казалось, всех страшила сама тишина.

Криворотов не спешил. Не дождавшись ответа, он стал будто присматриваться, выискивая кого-то в полутьме вагона. Он по опыту знал, что здесь редко кто спешит с ответом. Кому хочется на тот свет, даже если в тебе той жизни не больше наперстка да хоть с понюшку. Любая тварь и та запросто так жизнь не отдаст. Иного червяка, чтоб наживить на крючок, немало надо прыти приложить. А то человек! Сколь же в нем силы – в том даже ничтожном остатке его жизни!

Пока Криворотов, раздумывая, озираясь по сторонам, каждый из несчастных, поди, свою прожитую жизнь уже успел уложить в эти, может быть, его последние минуты жизни.

Известное дело: хуже всего ждать да догонять.

Эта была то же пытка. И не приведи ее, бог, кому испытать: она похуже здесь даже самой смерти.

Присмотревшись, Криворотов стал различать и даже узнавать лица ближних к нему узников. Память на лица людей было его единственным, что не изменяло ему с годами. А сколько разных лиц прошло мимо него за долгие годы службы в вагоне для смертников? Что при царе, что при Советах... А цепкая, по-крестьянски, память у него еще с детства. Вот и сейчас он узнает многих из тех, кто прибыл недавно, но и тех, лица которых со временем здесь уже заты-

нула серая липкая паутина смерти. Одних он узнавал сразу, в их глазах еще тлел, хоть и слабый, но все же уголек жизни. Других он узнавал с трудом, взгляды их уже потухли в темных провалах глазниц.

Но вглядываясь в угрюмые, обреченные, испуганные лица людей, Криворотов не искал среди них Даурова. Его он найдет даже в кромешной тьме, будь она в вагоне...

Криворотов хорошо помнит тот день, когда в вагон доставили Даурова. Он сразу узнал в худом, изможденном человеке с лицом, походившем скорее на кровавый мосол, того молодого, блиставшего тогда в золотых погонах, офицера, судьба с которым когда-то свела его. На обезображенном лице его выдавали лишь хищные, пронзительные глаза. Да, собственно, только их он и мог тогда разглядеть.

«Эх, ваше благородие!... Вот уж никак не ожидал именно вас увидеть среди приговоренных к смерти. Среди героев, павших или живых – согласен был его увидеть, но не здесь. И надо же было так угораздить? – сокрушался, молча, охранник. – И надо же такому случиться – встретились у вагона смертников когда-то и опять, черт или дьявол тебя попутал, вновь в таком же вагоне встретились. Здесь, пади, замешана нечистая сила!».

А я кто тогда был? Сосунок ...деревня ...первого года призыва перед первой мировой. И надо же было случиться побегу из такого же, как этот, вагона. А бежали «политики»... шуму было. Стали искать... что да как? А тут война... дело отложили. Говорили тогда, что побег – дело рук молодых офицеров, ... но война все списала. Как они сумели все чисто обставить, – ума не приложу. Но то, что среди них был он, Дауров, главным заводилой – это факт! В то утро стоял непроглядный туман и потому велено было стрелять в воздух. Помнится, он как с небес свалился на вороном коне, не весть откуда взялся и ко мне, как приведение. Ты, говорит, не стреляй более, а за службу вот, мол, держи – и сует мне в руку кредитку, я глянул на нее и глазам не поверил – в руке была «красенькая»... таких деньжищ я сроду в руках не держал! Когда в себя пришел, – а его и след простыл. Я глаза его запомнил... Когда он наехал на меня, то прежде, чем сунуть в руки десять рублей, он свесился прямо из седла – тут то наши глаза и встретились. Ни до, ни после того случая, сказывали, не было побегов из таких вагонов. Помню, «политики» были в основном из поляков, хотя, говорили, что был и один русский. А вот среди налетчиков я успел разглядеть девушку – она стояла рядом со мной – я к этому времени был уже обезоружен – и что-то быстро говорила по-польски. И вот сейчас какой день голову ломаю: уж не она ли – та полька, как потом оказалось, – и есть эта дамочка, что была в буфете – и крестиков на ладошке оставила?

Но тогда – сразу на допросе – я не признал Даурова, сказав, что в тумане не мог разобрать личность офицера. Так что, выходит, никто не должен знать о нашем знакомстве. Хотя нынешний Старшой на меня косо поглядывает, должно, не дает ему покоя моя служба при царе. А может, что-то он слышал о том побеге?

...Интересно,... что у него на уме? Не испортит ли он мне задуманное? Хотя узнай он о том, что я где-то уже встречался с Дауровым, мне, поди, несдобровать. Я – ладно, не большая потеря... А помочь, однако, Даурову надо... и откладывать более некуда. Ноне все складывается, как надо. Пока... Если Старшой еще что-то не выкинет? Может «рулетку» задумал еще раз на нем опробовать? Обычно второго раза не бывает, да еще днем... Уж не затеял ли он чего-то еще с ним сыграть? Этот Старшой еще та, шкура! А может сам приведет в исполнение? Он сам не раз говорил, что у него на этого казачка рука чешется! Я-то сразу раскусил Старшого, эту лагерную шкуру... А этот казак, отчаянная голова, только он мог заварить тот побег, вернуть несчастных людей, – им могилы уже вырыты были, – почитай, с того света. И это, говорят, справедливая ноне власть. Старшой вчера сапоги лизал лагерному начальнику, чтоб в десятники выбиться, а теперь он Даурова заживо гноит здесь за то, что тот побег учинил, и освободил тех, кто ноне у власти. Уж нет, этому не бывать...

И все ж одна неувязка осталась. Почему, вернувшись с пакетом от коменданта, Старшой решил

исполнение делать днем? Такое за всю его службу впервые. Спешит или выслуживается? А может и то и другое. Он хорошо знает, что за несвоевременное освобождение вагона под новые партии невольников, многих из Старших убрали, с этого, как они сами говорили, «теплого места».

В тот же день, когда Старшой отправился к коменданту вокзала, он с напарником пошел как обычно в буфет вокзала, чтобы собрать со столов остатки для смертников. Ведь нынешний Старшой на это не выделял ни копейки. Хотя прошлые Старшие, помнится, хотя бы на хлеб, но давали. Ну, да бог с ним. Пока мы, значит, суд да дело... подходит дамочка, городская с виду, и предлагает все взять с ее стола. Ну, мы мигом сообразили – что почем... А она меня этак чуть в сторону повернула и о чем-то быстро залепетала... я смотрю на нее и чувствую, что я где-то видел это лицо, – а память на лица отменная у меня! Она что говорит, а я на нее смотрю, – неужто она меня не признала. Она, должно, видит, что я не в своем уме, мигом схватила мою ладошку и три креста химическим карандашом начертила. Я пока очухался – ее и след простыл. Вот и ходил все эти дни как чумной-какой. Так видно с виду Старшому показался. Он, мол, надо за пакетом к коменданту. А я вроде дурачком прикинулся: глаза закатил и молчу. А на меня, бывает, такое накатывает иной раз. Старшой знал, что у меня иногда не все «дома» в голове. «Значит ты того, – он мотнул пальцем у своего виска. – Уж не свихнулся ли ты, паря?» А я, возьми, да голову опусти – он, видать, так и понял, что я согласно кивнул головой. Он отстал от меня. Видать, куда уж там меня, полоумного, за пакетом слать. Вот таким макаром я и отделался от Старшого. А он Ваську направил. А я и в самом деле хожу как чумной из угла в угол, – эта дамочка, что в буфете была, из головы не выходит. С непривычки и в самом деле даже дурно в голове стало. И к чему бы все это? Откуда бы этой незнакомке знать, где Дауров? Ну, да бог с ним. Откуда она могла знать всю тайну об этом секретном вагоне? Ведь все ею рассчитано: и точное время прибытия, и именно на этой станции, а не на другой. Сколь их до этого остановок у нас было! Может что-то неладное затевается вокруг Даурова, и она хочет как-то предупредить его? Вон и Старшой почему-то ноне при таком параде... К чему бы все это?»

Он вдруг вспомнил про кресты и косо, как бы невзначай, глянул на ладонь. Кресты были на месте...

Зычный голос Старшого оборвал его мысли.

– Ну, ты что, Губошлеп, сам решил тут остаться или как?.. Что там телишься?.. Не идет, его благородие, так помоги! Тащи на свет божий его... увидим, что осталось, ядрена вошь, от этой, бело-казачьей сволочи?... мать его ети. Ха – ха! – срываясь на матерщину, зло прохрипел Старшой, ядовито хохотнув при этом.

Злая усмешка его была визитной ему карточкой в разговоре с этими, как он называл несчастных, «существами», как и со всеми, кто хоть сколько-нибудь ниже был его по рангу. «Ха – ха» будто прилипла к его губам и она срывалась как придется, – по делу и без дела. Это, видимо, было его «домашнее задание» в той школе ненависти и унижения человека, которую он прошел когда-то на зоне. Той школы, где каждому вбивали в башку: «Нет человека – нет проблемы». В этой школе ненависти было входу и другое выражение Хозяина, вошедшее в «классику» зоны: «Русские бабы еще нарожают!».

– Ты, олух царя небесного, – не унимался Старшой. – Узнай, может он ждет, чтоб его исповедали? Так скажи ему, что наш поп уже представился, а заупокойную и я ему отпою так, что сам на небеса запросится. Так отпою, что сатане плохо станет. Грехов на энтот казаке много, знаю, как на сучке блох! Ха – Ха! – заржал Старшой, шеря редкие крупные лошадиные зубы.

Старшой стоял в тамбуре вагона для смертников, из открытой двери в вагон несло смрадом городского сортира. «Свинарник! – отвернувшись, буркнул он про себя. – Здесь можно с непривычки и задохнуться...». Хотя ему был знаком этот липкий запах человеческого смрада тюремных камер и лагерных бараков. Это естественный запах мест, где человек живет в неволе, на положении скота, им русского человека не удивить. А он, пройдя огонь и воды лагерей, а также «медные трубы» десятника на зоне, давно перестал чему-либо удивляться. Человек такая скотинка, что сможет вынести все. А уж русскому – ему чем хуже, тем лучше. Так нам внушал «ученый еврей» на зоне. Поначалу было неловко, когда военный комендант вокзала нос воротил при моем появлении, а секретарша платочком нос зажимала, – не нравилось им, что от меня, как от асанизатора, поди, несло. Ничего, попривыкли к запахам пролетарской власти. А тем более при нашем деле: утилизации врагов народа. Вагон, что морг на колесах – здесь стены – не то, что мы, охрана! – и те пропитаны запахом смерти!

Не приятен ему ни сам запах, а то тревожное чувство, которое поселилось в нем. Запах этот всегда после лагерей пробуждал в нем страх – не дай-то, бог! – вернуться прошлому, вновь превратиться в лагерную пыль на зоне... И как это меня тогда, бывшего закоренелого каторжанина, угораздило там оказаться вновь – уже при Советах? А кто о себе правду скажет? Правду о себе ни одна власть не скажет, – а то человек! Россия – это заповедная страна самодержцев, как учил нас на зоне «ученый еврей», а у них, известное дело, все держатся на лжи. Ждут пока народ прозреет и устроит им бунт русский и беспощадный. А до того жируют... А как на зоне оказался?... Как? На это страна не даст ответа. Сам кумекай! Во все времена на Руси жалует царь, да не жалует псарь... На псарне этой и держится всякая власть. А псарь мог посадить за что угодно: то ли глаз у тебя кривой, то ли каторжником от тебя пахнет... Ноне время такое: не побалуешь у вождя – куда воткнул, там и торчи! Вот так и в сатрапах оказался... На зоне из десятка работяг быстро выскребся в десятники. Это дело плевое, если хоть раз на каторге побывал, хоть на царской, хоть на советской. Хрен редьки не слаще... Тебе здесь все знакомо – ты здесь, как рыба в воде! Каторга может и сломать, как в свое время Достоевского. О нем тот «еврей» многое порассказал: целую лекцию нам, помнится, закатил, назвав ее «Достоевский и революция». В долгие зимние вечера под крепкий храп мужиков он рассказал много интересного и еще больше непонятного. Так вот Достоевский, говорил он, сразу после каторги от страха в ноженьки богу-то и упал: возьми, мол, и защити. Страшно стало барину на каторге, когда он там «дно» России увидел! А там все, как я – со дна жизни. А вот декабристы, – это уже совсем другая публика, умнейшие, они знали изнутри, что монархия на рабстве держится, – они за волю простых людишек, говорил тот «еврей», прошли все – и не дрогнули. Помнится, я еще пацаном с папаней – да и мать моя при нас была – за пешим этапом шел, держась иногда за телегу. А в телеги каторжанские пожитки и мать примостилась с краю. Ютились мы с мамкой моею в поселке для ссыльных. А там, сказывали местные, декабрист доживал. Вот и выходит, что мы отбывали с декабристами за одно и то же дело – за свободу! Вот от чего и были понятны мне слова того «профессора». Я по сию пору – нет-нет да что-то вспомню из того, что говорил тогда тот «ученый еврей». Но недолго он протянул на зоне... Царствие ему небесное! Умная была у него «архивная» башка. Часто, как помнится, начинал он рассказ со старой еврейской прибаутки: «Не дай бог, вам, ребяташки, быть рабами у раба!» Не башка, а дом Советов с пристройкой... Я за годы каторг, почитай, целый университетский курс прошел. На зоне всюду своя братва. Все начальство сплошь из нас, бывших зеков. Встретить кого из НКВД – то была большая редкость. Они, как и наш Хозяин, спрятали свой страх за колючую проволоку лагерей, и сидят в столицах да по теплым кабинетам. Всем в лагере заправляли мы, из бывших. Мы, почитай, были как государство в государстве. Но выбиться у нас «в люди», – непросто. Даже с «параши» в бараке слезть сразу не всякому удавалось. Бывало, что и мне не раз размазывали кровавые сопли, – а ты терпи... мотай на ус: когда-нибудь и тебя жизнь заставит так же поступать... И все ж хорошую школу припадал тот «ученый еврей» или «про-

фессор», как его другие прозвали... С тем «ученым евреем» дело было под Воркутой, в Лесзаге. Приглянулся мне один старичок – тогда я был уж десятником. Старик как старик, – у них здесь все, как на одну колодку, лица. А потом как-то пригляделся: ба! Земляк! Да мы знакомы, батя! Вспомнил, что я как-то нескладно подшутил над этим стариком. Тогда этап грузился на баржу. Бросили, как обычно, пару досок вместо трапа, – а они, понятно, ходуном ходят под человеком. Мы с конвойными смотрели со стороны. У ослабевших за дорогу этапников ноги дрожали на шатких дощечках. Иные роняли вещи, другие ползли на четвереньках. Мы, молодые, ржали как лошади в диком восторге от такого спектакля.

Я тоже, помню, хохотал громко. Словом, гогот жеребячий стоял... Вот я тогда и решил прутиком пощекотать старичка, а он, возьми, да упади в воду... Это тогда казалось нам смешным и безобидным ребячеством... И вот на зоне я встретил этого интеллигентного старика. Не знаю, из жалости что ли, но стал я его подкармливать... я ему и кличку дал «ученый еврей». Он, кажется, на меня за тот случай не обижался.

И потом зимними долгими вечерами, когда пайка хлеба съедена, звали к себе на нарты этого старичка, и он с жаром нам рассказывал обо всем, но больше всего почему-то о Достоевском и революции. Имя этого писателя тогда даже среди «политики» и то вслух не произносили, а он нам лекции о нем закатывал. «И чем этот писатель народу не угодил, что теперь даже книги его на „каторгу“ отправили?», – базарили мы тогда между собою. От сказанного им у нас тогда в башке ничего не оставалось. Потом он нам все больше стал говорить о боге да о вере. Хотя тут ли было до веры?... Здесь манной небесной сыт не будешь. Завтра, если не заработаешь полную пайку хлеба, то послезавтра ноги протянешь на морозе, сдохнешь как собака. Тебе и вера не поможет! Здесь все крутится вокруг пайки и страхом – не получить ее – у каждого из нас полны были штаны... И все ж нас по вечерам тянуло на разговор... Всего и не припомнишь, о чем тогда он говорил...

Но те его слова о проклятии древних евреев: «Чтоб тебе быть рабом у раба!» – помню, как наверное помнит «Отче наш» всякий верующий. Хотя, что нам евреи! Для них это было страшным проклятием тогда, а для нас – это жизнь, самая настоящая, нынешняя жизнь.

И ничего – живем... Кто нынче у власти? Да все те, кто вчера холопом был. Из грязи да в князи – это и есть по-нашему: быть рабом у раба, у бывшего раба. Я так думаю... Хотя у тех древних евреев, – всегда добавлял при этом наш «ученый еврей» – проклятие это было пострашнее любого повального мора. Чем нас удивил! «Да наш Гулаг и голодомор еще похлещче вашего еврейского повального мора!» – несогласно, гудели мы. – И ничего, пока живы. «Бабы еще нарожают», вспоминали мы слова вождя. Из грязи да в князи – это хорошо – так революцией задумано. Другое дело, революция уж больно так глубоко перепахала Россию, что «наверх» вместо плодоносящей земли вывернули «глину», пустую землю. А на ней лишь хорошо бурьян растет, а вот «трактор» социализма, думаю, в этой непролазной грязи из «глины» увязнет по «уши», так что жить при коммунизме, видимо, нашему поколению не придется. Но это уже не наша забота, – а тракториста...».

Конвойный тронул Даурова за плечо.

Дауров... ты жив?

Тот пошевелился.

А!... да... я, – нетвердо отозвался Дауров, еще не соображая, что от него хотят.

Айда! Старшой зовут, – наклонившись, негромко позвал охранник.

Да... да! – вдруг энергично отозвался тот.

Он не сразу сегодня узнал знакомый ему голос Криворотова с его оканьем волжского говора.

Дауров быстро засобирился. Стал вставать, но на скользком полу ноги его не удержали, словно их и вовсе не было – так они одеревенели, так что он, раскатившись, рухнул, гулко

ударившись затылком о край настила. Придя в себя, он попытался еще и еще раз подняться, хватаясь всякий раз руками за воздух. И все неудачно. Он падал, как придется...

В вагоне все это время стояла натянутая тишина. В дальнем углу притихли даже китайцы, тараторившие до этого без умолка.

И так каждый раз проходила «санитарная уборка» вагона, когда Старшой раз за разом вызывал на приведение приговора в исполнение. Так он – с его слов – освобождал вагон от «залежалого товара».

Криворотов ждал, глядя, как беспомощно барахтался среди мрази пола Дауров. Помощь смертнику здесь сочтется за соучастие. Десятки глаз следили за каждым движением охранника.

А что будет за соучастие, Старшой сказал сразу, в свой первый же день. Так что каждый из охраны у него был на примете. А с него, Криворотова, и вовсе глаз не спускает, – еще бы! – служил при царе.

Да, Старшой знал «царское» прошлое Криворотова. Это и не давало ему покоя: Криворотов не иначе как скрытый враг народа. И уж он-то, – если этого не сделали до него, – выведет его на «чистую воду». Оставалось повода. Он знал о нем многое, но не все. Не знал главного: его знакомство с Дауровым. А знай, – Криворотову несдобровать. Давно бы с потрохами съел... не избежать бы вагона с парашей и с ржавой селедкой.

Криворотов стоял безучастно. Невозмутимое спокойствие блуждало на его изуродованном лице, скрытое под маской отвращения или равнодушия ко всему. Как и к этому, стоящему сейчас перед ним, когда-то близкому, но сейчас немощному и далекому существу. Он хорошо помнит того блистательного молодого офицера, ставшего потом, со слов Старшого, казачьим полковником. Теперь в этом седом с изможденным в шрамах лицом было непросто узнать того в золотых погонах на красавце коне, которого он видел в тот незабываемый в жизни день. Тогда был совершен побег невольников из подобного же мрачного склепа – вагона для смертников. Как не помнить его, того побега, если о нем так много говорили и тогда и после. Ведь такого еще не было больше ни в царское, ни в нынешнее время. А этот человек, который сейчас бился, пытаясь встать, в человеческих испражнениях, это он помог совершить тот побег. И в этом он не сомневался ни тогда, когда его сразу после побега вызвал на допрос его начальник, жандармский капитан, ни тем более теперь. Ведь не зря капитан тогда кричал, что без посторонней помощи, из вагона, как из замка ИФ, побег не возможен. А здесь замешены, кричал он, молодые офицеры. Почему капитан так был в этом уверен – он не знал. Как не знал он ни о каком – таком замке ИФ, но был уверен, что тот побег мог сделать лишь лихой человек. И этот человек сейчас стоял перед ним, – такой беспомощный и жалкий.

«Неужели ему нельзя ничем помочь?» – глядя на Даурова, думал охранник.

Криворотов от природы не был злобным человеком и не стал им. Хотя позднее понял, что зло, однажды поселившись вместе с людьми в вагоне, отсюда уж более не уходило. А он на долгие годы так и остался невольным узником этого зла, долгие годы общался с ним. По-крестьянски, с богом, он давно уже смирился со своим положением. Понял, что судьбой обречен на эту неволю так же, как узники вагона смерти.

Службу он нес справно, во что не просили, – не лез. «Наше дело телячье – обгадился и стой», – учил его родной дед, с которым он прожил до самой службы. Так он вскоре и вовсе привык к человеческой злобе. Зло грех! Это он знал. Но зато покаяние освободит тебя от этого греха. Господь милостив, простит! А что до службы, то она, что и «публика» в вагоне, ни тогда, ни сегодня ничем друг от дружки не отличается. Да и как ей отличаться, если русский, он один и тот же, что тогда, хоть с самого крещения Руси, что сегодня. Он все так же жесток, будто и вовсе не было революции, не кричали улицы «справедливость, свобода». Слова эти, должно, затерялись на непролазных дорогах российских и сюда в вагон не попали да им и места здесь свободного нет. На лицах людей, что тогда, что ныне, лежит все та же серая паутина смерти.

И бьются они в этой липкой паутине, как мухи, попавшие в лапы паука, овладевшего, должно быть, Россией с давних пор.

Да, жалость за этих, обиженных богом, несчастных была и есть, да и куда ей деться: человек, ведь, божье создание. А наше дело телячье, – кому-то все одно служить надо. И не так уж важно кому? То цари были, теперь пришли красные, завтра, глядишь, «нонешних царей» под зад коленом. А тебе все едино, – ты служи, хоть за кусок хлеба. А большего – не жди. И не важно какая нынче власть. Вона, обувка сгноилась, а новой не проси, – не дадут. Ведь никому нет до тебя дела. А просил – и не раз. Хотя к палачу любой власти нужен помощник? Нужен. Да без нас палач как без рук. А то вот, возьму, да сбегу. Сколь от сюда сбежало... А все чаще на ходу поезда. Так проще. Спрыгнул где – и ищи ветра в поле. А то дурачком прикинутся. И такое бывало. Этот новенький Старшой еще не знает – с кем он здесь служит. Только мне бежать некуда... Оно бы все ничего – служи себе да служи. Ведь не зря говорят, что там хорошо, где нас нет. Коль власть одна, – то и порядки везде одни и те же. На Руси пошли такие власти-то, что и человека в упор не видят. А потому и нам все одно какая власть, как тому татарину: ему хоть убивать, хоть убитого оттаскивать – все едино. А мы сколь веков были под татаринном... те же и у нас повадки. Доведись до меня: какая разница, что вести к обрыву на исполнение, что трупы в тамбур тащить.

Криворотов смахивает залоснившимся рукавом шинели слюну, готовой вот- вот сорваться вниз через отвислую, как вишня, губу. «Черт ее побрал», – всякий раз, смахивая ее, ругается он, и гримаса пробегает по его лицу, еще более его обезображивая. Он долго кашляет, потом с отвращением сплевывает себе под ноги.» Должно за это и Губошлепом прозвали», – при этом думает он. Что до себя, то он свыкся с тем, как обозвал его нонешний Старшой. Но в душе он против, чтобы людям, как собакам, давали унижительные клички. Уже за одно это ему не нравится этот Старшой.

Из отдушины в полу, приспособленной под отхожее место, тянуло запахом гнилья и холодной сыростью осеннего утра. Не по-летнему слабый пучок света, пробивавшегося сквозь решетку окошка под потолком вагона, теперь уже не опускался до пола, а блуждал где-то по середине стенки вагона. Свет с трудом прорезал мглу смрада, оставляя слабый дрожащий от идущих испарений след, наполняя вагон и освещая его обитателей слабым лунным все омертвляющим светом.

Дауров не испытывал ни голода, ни даже жажды. Но одолевала слабость.

Не с первого раза, но он все же поднялся. Попробовал двинуться по узкому проходу к выходу. Каждый шаг давался усилием рассудка, кружилась голова. От напряжения тело било ознобом, как в параличе. После нескольких шагов понял, что больше не сможет устоять на скользком полу, – и тогда он пополз на четвереньках. И все же жизнь из него не ушла, она двигала его вперед, требуя движения. Но голос охранника остановил его:

– Постой! – крикнул Криворотов, сообразив, что на него надо было надеть кожаные кандалы, как и положено при выходе смертника из вагона.

Через открытую дверь он спросил об этом Старшого. Хотя ответа сразу не последовало, но охранник знал, что Старшой всегда при таких случаях бывает невдалеке. Он выждал минуту – другую.

– Значит, не надо, – буркнул он. – Да и какой из тебя, паря, беглец! – бормотал охранник, поглядывая

на торчавшие из-под рваных галифе голые распухшие ноги Даурова.

Слово «беглец» дошло до Даурова не сразу, – будто издалика. Но уже на память пришла война на

Турецком фронте первой мировой войны, – и плен у горцев. Там, чтобы не смогли убежать, горцы били по ногам. Но тогда они так хотели жить, что смогли все, – и они бежали. Дауров бежал со своим фронтовым товарищем Александром. Его потом в Гражданскую на глазах

Даурова повесили за отказ от мобилизации в красную армию. Вот там на привокзальной площади, где и шла казнь, он и услышал впервые голос предыдущего Старшого, которого арестовали при нем люди в синих шинелях. После двух бесед с ним, Дауров уже не сомневался, что именно он агитировал тогда на вокзале войска, прибывающие с Турецкого фронта.

И вот теперь те раны от побоев на ногах давали о себе знать, они же напомнили и о побеге. А потом уже били его наши – по-русски до крови, по-стахановски, в подвалах следствия. Но всегда в таких случаях больше перепадало больному месту, – ногам. А вагон и вовсе, казалось, унес последние силы. Остатки жизни медленно вытравил ядовитый, трупный смрад вагона. Он висел киссею, как смог, разъедавая живую плоть. Он убивал в человеке всякое желание жить. А «русская рулетка» Старшого. Только одна она чего «стоит»! После нее он не один день приходил в себя. «Живой труп» – вот и все, что оставалось от него. Душа, казалось, уже отлетела и теперь с омерзением следила за этим ворочающимся существом, когда-то бывшее ее плотью. После «рулетки» не все возвращались в вагон.

Век не забудет Дауров тот день. Вывели из вагона, стреноженного, как коня в ночное, в кожаных кандалах. Ночь – хоть глаз коли. Охранник толкнул прикладом, – иди. Побрел на ощупь. Собственного следа не видеть. Удар по голове, – упал. Пинками конвойный заставил подняться. Иду. Вдруг сзади хруст затвора. Замер. Напрягся. Ожидаю выстрела. В тишине слышно, как в патронник скользнул патрон. Соображаю, – с ним вошла и смерть моя. Жду ее... Минута... другая. «Стреляй, паскуда», – кричу, что есть мочи. Невмоготу... я уже, должно, мертвый. Не слышу сухой треск спускового крючка... Осечка... Удар в спину. Очнулся. Сзади окрик: «Иди... живи и помни ...в другой раз осечки не будет».

Да, поиграть со смертью – это только у русских могло стать забавою. Это и помериться силами с медведем или поиграть с жизнью с одним патроном в барабане «смерти» револьвера. И не зря, должно, эта забава родилась в русской земле – эта русская рулетка. Не пришло еще к нам осознание цены жизни, а потому нам и смерть ни почем. А все это, думается, от русской безысходности, порожденной темным царством рабства, что триста лет держало в цепях Россию самодержавие дома Романовых.

Словом, первая проба этой русской забавы прошла по мне. Уж и не знаю почему так. То ли я был одним из «долгожителей» вагона смерти – полгода мотала меня судьба на колесах, пытая меня на прочность, то ли оттого, что казаку уж так на роду написано: и первая пуля, и удар шашки – все ему первому. Да, когда-то приходится отвечать за то, что родился казаком. Должно настал и мой черед.

Уж и не помню, как тогда только сердце не остановилось, не разорвалось. Но одно помню, что успел сказать, пока ждал «выстрела», вспомнив мать: «Прости меня, родная... я родился вместе с твоей смертью... прости... дорогая».

Для Старшого эта «рулетка», казалось, была забавой – от скуки ради. Подпив, почему бы ни пошутить над смертником: а убьет – не велика беда. Им, смертникам, все одно – одна туда им дорога. Они ведь «враги народа», а он, Старшой, исполнитель воли народа... вершитель их судеб.

Что было после «рулетки» – не помню ничего. Не помню даже, как забрался в вагон. Ведь останься я там, на насыпи – не было бы ни меня, ни моих мук. Так что еще не известно, что лучше... Новый Старшой сразу завел порядок: кто не смог вкарабкаться в вагон – тот так и оставался на земле.

Потому-то при этом Старшом вагон быстро пустел, а все предыдущие пострадали за то, что не могли вовремя принять новую партию смертников, – не было мест.

Не будь Федора, моего соседа по нарам, я может быть и не оклемался – так потрясла меня забава Старшого. Он, добрая душа, помог мне вернуться к жизни. Он был откуда-то с Примо-

рья Дальнего Востока, знал мало-мальски китайский язык. Мы с ним перекинулись для знакомства несколькими словами еще в первый день, как я попал в вагон. Вот он – уж не знаю как – раздобыл у китайцев опиум. Китайцев – хунхузов брали на границе, как контрабандистов. Они, спиртоносы, доставляли на наши прииски спирт в обмен на золотой песок. Их брали на границе, песок, конечно, отбирали, а их, чтобы концы, как говорится, в воду, забрасывали в вагон для смертников, после него от них и следов не оставалось. Но и Старшие брали их в вагон – в нарушение своих инструкций – под «интерес» – при китайцах всегда был опиум. Некоторым из них он помогал даже выжить. Опиумом «баловались» Старшие, особенно прежний. От них не отставала и охрана. О хунхузах и о том, что при них всегда есть опиум, Федор знал еще до того, как попал сюда, – ведь у Приморья западная граница с Китаем.

Китайцы в вагоне всегда держались кучкой. По-своему без умолка они лопотали между собой, так что, казалось, им не было никакого дела до происходящего в вагоне. Среди них выделялся седовласый старик. Он держался уверенно, порою даже дерзко, когда дело заходило об опиуме. Он знал цену опиума, а потому соглашался обменять его только на кружку воды или на кусок хлеба. У Федора ни того, ни другого не было, а потому переговоры с ними, казалось, зашли в тупик. Да, он понимающе кивал головой, как болванчиком, в сторону Даурова, но опиума не давал: «Нет, капитана», – твердил за всех старик. Оставалось только тряхнуть этого старика за грудки... Среди китайцев поднялся шум: требовали охранника. Вагон молчал. Не вышел и охранник. Тогда китайцы все сразу поняли: жизнь дороже опиума! И опиум дали...

Жизнь не сразу, постепенно стала возвращаться к Даурову, как он стал принимать наркотик. С того же дня у него с Федором и разговор пошел, как говорится, по душам. Ведь откровенность по тюрьмам, лагерям не любили. Все это знали. Это был неписанный закон зоны.

Так они познакомились поближе. Федор был из старых большевиков, член партии с 1903 года. Партийная кличка Гуран. Один из первых организаторов колхозов в Приморье. Прошел царскую каторгу – оставил там здоровье. Его большие легкие, астма не выносили атмосферу вагона. Он задыхался, терял сознание. Его уже около года держали здесь без суда и следствия. Он был здесь на перевоспитании, как говорил Старшой. Федор, мол, промахнулся, не попал в колею вождя, в его курс партии, а вот теперь будем, мол, по-своему здесь ему внушать, что нарушать устав партии никому не позволено, даже большевикам со стажем. Поймет, – отпустим на волю, чтоб по-людски похоронили. Как ни крути, а все ж борец за революцию!

Здесь мы скажем читателю, что таких как Федор, которые увидели-таки свободу, были единицы. А он – да! – вернется к жизни на воле. Автора этих строк судьба сведет с ним на склоне его жизни. Тогда он будет уже старым и больным – на ногах открылась гангрена – забытым всеми человеком, но в чистом и здравом уме. Он и поведал все то, что, наверное, за давностью лет он мог уже сказать, о чем когда-то давал подписку не разглашать... И вот, дословно, его последние слова: «Один мудрец где-то писал, что если ты смог пережить, то должен иметь силу помнить»... Думаю, эти слова и подвигли меня к написанию его воспоминаний с известной долей обработки.

На другой день после «русской рулетки» Федор не сразу узнал в седом как лунь, враз постаревшем человеке, Даурова. Все выдавало в нем пережитое. «Да, брат, разукрасило тебя крепко! – проговорил он, глядя на Даурова, когда утренний луч света через оконце достиг их места на нарах. – Должно, на том свете побывал...» Дауров ответил не сразу. Он долго блуждал помутневшим взором по вагону, по их месту на нарах, глянул на Федора, но вскоре взгляд его потускнел – и тут же погас...

«Рулетка» была весною. Тогда он еще не знал, что ждало его впереди, летом. Зная это, он бы, наверное, не стал бы спускаться с небес и карабкаться тогда в вагон, срывая ногти на пальцах рук.

В жаркие дни долгих стоянок вагона ядовитый смрад от разлагающихся ран и человеческих испражнений нагревался так, что теперь он заполнял все пространство вагона, убивая все живое. Начиналось сумасшествие... Люди задыхались, как в газовой камере. Был суший дантов ад. Лишь немногие, задыхаясь, смогли доползти до «параша», чтобы через прорезь в полу схватить что-то похожее на воздух. Стоны, душераздирающие крики удушья наполняли вагон... Задыхаясь, люди лезли на стены, бились в судорогах удушья, теряли рассудок... и зати-хали. Другие корчились от болей, остывая в собственном дерьме. Человек превращался в скот так, что уже не кричал, а дико мычал или рычал... Иные, смирившись с мыслью о смерти – на то он и вагон смерти – «уходили» молча.

Это были смертельные дни и для Федора. Не справлялись легкие, душила астма. Он зады-хался, судорожно хватая ядовитый воздух ртом, бился головой об пол. Дауров, сам еле живой, расталкивая с трудом, но тащил Федора к «параше», к единственному в вагоне живительному – хоть сколько-нибудь! – источнику.

После долгих дней «отстоя» вагонов в тупиках железнодорожных станций, немало из тех, кто побывал на дне бездны безумия душных дней, не вернулись оттуда. Так от остановки до остановки заметно редели нары вагона. Трупы оттаскивали в тамбур. Бывало, что, схватив чистого воздуха, «труп» вдруг оживал. В вагон на место их не возвращали. «Это душа из них выходит... она то руку заденет, шевельнет, то ногу, – то ли в шутку, то ли всерьез пояснял Старшой на недоуменные взгляды охранников. – Всех их по бумагам уже нету. А на нет – и суда нет! Как вождь нас учит! Нет человека – нет и проблемы. Вот так и служите...».

В один из душных дней умирал сосед Даурова с другой его стороны, чем Федор. Обезумевший, он издавал нечленораздельные звуки, похожие на стон или на пение. В такт этих звуков он раскачивал головой из стороны в сторону, привалившись к стенке вагона. Но вот, обессилив, тело его успокоилось. Оно вытянулось во всю длину. И тогда жирные мухи, почуяв еще раньше его смерть, и вовсе озверели. Он лишь изредка поворачивал голову и тогда они вяло слетали, но почти тут же возвращались, как на падаль, покрывая лицо плотной черной шевелящейся массой. Дауров смахивал рукой с его лица мух. Те, нехотя, поднимались, открыв-вая распухшее от укусов лицо, кровавые раны потрескавшихся губ и выеденные глаза. Иногда сознание к нему возвращалось и тогда он нетвердой рукой пробовал согнать мух сам, но они не взлетали, словно присосались. И тогда он бил неуверенно себя по лицу. Они с недовольным гудением все же взлетали, роями кружась над почти неподвижной жертвой. В минуты просвет-ления рассудка он что-то говорил в полубреду. Но как-то раз он отчетливо вдруг выговорил: «Есть два вопроса... нет ответа. Первое... как возникло мироздание и жизнь во вселенной... второй... за что меня арестовали?» И следом быстро, боясь, видно, не успеть, он уже с шипе-нием проговорил: «... чудно было видеть там на севере вольных людей... над которыми не вла-стен конвой...». Заплывшие глаза его с немой исступленностью и мольбой смотрели, не отры-ваясь, туда, на зарешеченное оконце, откуда исходил слабый теплый луч жизни... Взгляд его медленно угасал, глаза тускнели... Из груди его вырвался глухой рокот. Он оборвался сто-ном... и человек затих. В остановившихся остекленелых глазах его блеском отражался мутный свет заходящего дня...

Дауров пробовал в летние, душные дни заставить себя силой воли реже и неглубоко дышать, прикрыв рот рукавом кителя. Но, к несчастью, этого хватало ненадолго. Появилась головная боль, начинало давить в уши, будто ты в воде опустился на глубину. Усилилось уду-шье. Угасающим сознанием он понимал, что это еще не смерть – это борьба жизни со смертью. По ногам прошли судороги, они коснулись и рук... И сознание исчезло, покинуло его...

Когда-то всему бывает конец. И когда вагоны, подхваченные проходящим составом, при-ходили в движение, жизнь, казалось, если вообще уместно здесь это слово, к радости всех, возвращалась. Хотя и ненадолго...

Встречный ветер загонял во все щели вагона воздух, разбавляя трупный смрад. Все облегченно вздохнули, зная, что это не конец их мук, а лишь перерыв, как обычно, незадолго до конца их смерти. В дни движения вагонов не было и вызовов на расстрел. И уже Старшой не играл в «русскую рулетку». Смерть в вагоне то же отдыхала...

Дауров заставил себя дойти почти до конца прохода, когда силы оставили его.

– Погоди..., -хрипло выдохнул он из себя.

Он лежал лицом в зловонной жиже – не в силах поднять голову

. Вот он перед вами, читатель, человек 20 века! Он, как и вы, гомо сапиенс, – венец творения природы. И происходит это не в средневековье – там может так и должно было быть – и не в вавилонском плену, и не на каторге царской, а в государстве, за власть которого этот человек воевал. Может вся вина в этом зле лежит на боге? Не он ли принес на землю меч, чтобы он стал карой для тех, кто не верит в бога, кто не следует, владея властью, его заповедям, кто зло творит на земле, считая себя помазанным во власть, а для толпы, стоящей у трона власти, он и вовсе помазанник божий, как величали себя на Руси цари. Нет вины на боге, когда власть творит по собственному образу и подобию, а не по заповедям господним, когда карающий меч в руках зла, а не добра. Но где божья справедливость, если кара неба падает на народ... всегда!

Слышь... ваш брод, – тронув Даурова за плечо, проговорил над его ухом Криворотов. – Ноне у вас

праздник... надо спешить.

Только сейчас, глядя на лежащего в вагонной блевотине Даурова, он решился на то, над чем думал за несколько минут до этого.

Праздник... говоришь, – выговорил тот, словно вернувшийся из небытия, приподняв голову.

Он не с первого раза, но все же смог встать. Теперь они стояли почти рядом, и Дауров мог глянуть в глаза охраннику.

– Праздник,... говоришь. Что ж, раз в году праздник бывает и в аду, – попытался улыбнуться он.

– Так вы уж поспешайте... ведь ждут вас, – в упор, не моргнув, серьезно проговорил Криворотов. Его вдруг только сейчас осенила мысль о той таинственной незнакомке и о ее крестах, которые сейчас он зажал в кулаке.

– Да, ты прав... я задержался на этом свете... я сам знаю об этом...

Что – то добавило Даурову сил. Может слова охранника или близость конца всем мукам его, но он твердо сделал эти оставшиеся несколько шагов до двери. Правда, с последним шагом подвела левая нога – она будто подломилась, но он успел ухватиться за прутья решетчатой двери, – она была свободной от основной входной двери – так, что пальцы побелели в выбитых суставах. Он навалился грудью на решетку и подтянул под себя отставшую ногу.

За решеткой нехотя подалась тяжелая дверь в тамбур.

Солнце ударило ему навстречу, его обдало свежим хрустящим воздухом осени. Воздухом жизни... С непривычки, он зажмурил глаза. Долго стоял, держась за поручень вагона. От свежего воздуха кружилась голова. Ветер забирался в ноздри, в рот... Он с жадностью, вздохнул, хватал его, давясь, будто пил большими глотками от жажды родниковую воду.

«Ну, вот... – подумал он, купаясь в потоках жизни, – ...я как напился. Теперь можно спускаться за смертью на землю. А день – то какой! Мороз и солнце... Какой чудесный мой последний день... жаль только, что я никогда его уже больше не вспомню».

...Но вот налетел порывом ветер, прижал к земле истрепанные снежные облака и из них посыпалась первая пороша. Ветер колючим снегом ударил в лицо. Дауров не обращал на него внимание. Он пристально глядел вперед, туда, где за редкой пока еще порошей был виден край

обрыва... Ему хотелось увидеть край своей жизни. В пустом, унылом от осени, уже безжизненном пространстве, ровно уходящем до обрыва, казалось, ничто не могло привлечь его внимание. Но что это?.. Ветер срывал с земли порошу и тогда проступали в беспорядке разбросанные блестящие стекляшки застывших луж... Глядя на эти застывшие лужи, он почувствовал, как сухой ком подкатил к его горлу, он попытался его проглотить, но было нечем – во рту было сухо. Жажда, так жестоко мучившая последнюю неделю, теперь проснулась в нем вновь. Теперь, сверху из тамбура вагона он даже приметил самую большую лужу, ту, что была ближе всего к краю обрыва. И она манила его... Чтобы стать его целью. И он ее достигнет, – решил он про себя, – как достиг многое из того, что он задумал в жизни...

Жизнь казака во власти судьбы, оттого она и коротка. Но Дауров успел сделать многое, хотя перед властями, как подобает потомственному казаку, не кланялся, шапку не ломал. Жил, как хотел, – жил с мечтой... Еще в гимназии он решил стать путешественником. В нем рано проснулся зов его предков, казаков – землепроходцев. Он уже тогда знал о них многое. И как атаман казачий Ермак отвоевал России Сибирь, и как казаки уходили за Байкал, в Даурию – не зря их род Дауровы! – и дальше до Океана, так что Россия, прирастая этими землями, становилась Российской Империей. В этом до сих пор неопределимая заслуга казачества перед Россией. Он должен стать исследователем тех земель, что открыли и отстаивали его предки – казаки. Он уже в гимназии спал и видел себя среди льдов Таймыра или непроходимых зарослей далекой Камчатки. Сколь казаков из первопроходцев осталось лежать в тех землях! И во всех его «путешествиях» был рядом с ним его кумир Пржевальский. Он знал о нем многое. Он был уверен, чтобы стать таким как его кумир, надо следовать его путем. И он шел... Окончив гимназию, он поступает в юнкерское кавалерийское училище. А дальше? Дальше самое главное – поступить в Академию Генерального штаба. Только окончив ее можно стать настоящим путешественником. Именно так поступил Пржевальский. Так поступил бы и он. Окончив училище по первому разряду, он имел все шансы для поступления в Академию... Но и не только это. Он был победителем окружных конных скачек и это давало ему право выступить на всероссийских красносельских скачках. Все это и другое порождали в нем надежду на осуществление его мечты... И вот теперь та дорога, по которой он шел к своей мечте, здесь и оборвется. А ведь ради нее он не покинул, не оставил Россию, он не мог предать свою мечту... Было трудное расставание с родными, с близкими, особенно с фронтовыми товарищами, с друзьями по училищу. А уж как звал его в эмиграцию Петр! Он был их казачьим атаманом, нас казаков – юнкеров. Он уходил к Врангелю в Гражданскую. Сколько с ним было сказано в ту их последнюю ночь. «Пойми, – говорил он, прощаясь, – восстали бывшие рабы... Так было при Разине, Пугачеве. Не хочешь ли ты стать красным атаманом, чтобы дать им волю? Тогда тебе придется разделить их судьбы. Ты готов? ... Ты, казачий офицер, ты оплот империи и веры! Кто тебе это простит? Никто... Революция уничтожит всю Россию до основания, а, значит, – и казачество. Попомни меня... Они будут мстить тебе за то, что ты был вольным человеком, а они холопами... У них теперь так: кто был ничем – стал всем. Свою казачью волю мы и наши предки-казаки, кровью отстаивали... и что ж теперь ею мы должны поступиться... Одумайся, Яков!».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.